



А. С. СУВОРИН

Историческая сатира. «История одного города». По подлинным документам издал М. Е. Салтыков (Щедрин). СПб., 1870

По-видимому, нет ничего легче, как дать себе отчет о произведении писателя, талант которого окреп и вполне определился, и имя пользуется известностью наравне с лучшими именами нашей литературы. Но последнее произведение г. Салтыкова в читателе внимательном порождает некоторые недоумения, разрешить которые не совсем легко. «История одного города», по замыслу, есть нечто новое, есть попытка на новом поприще, на которое г. Салтыков еще не выходил: он пробует свои силы, если можно так выразиться, в исторической сатире, то есть ищет для себя образов в прошлом, не особенно далеко, что не лишает его произведение некоторого современного значения, потому что, несмотря на несомненный прогресс в нашей жизни, и более отдаленное прошлое в некоторых чертах сохраняет еще для нас интерес современности: достаточно указать на сочинение Флетчера¹ «О Государстве Русском», явившееся в XVI столетии; оно так глубоко указало на причины наших недугов, что некоторые страницы его смело могут быть вставлены в современную публицистическую статью, и ни одному читателю не придет в голову, что это не мысли современного автора, а голос просвещенного, дальновидного политика-англичанина, умершего двести шестьдесят лет тому назад. Г. Салтыков берет своих героев из второй половины прошлого века и первой четверти настоящего; естественно, что в этом пределе он мог выбрать весьма рельефных героев, которыми, вообще, так богат был XVIII век; если б какому-нибудь из наших теперешних талантливых поэтов пришла охота *перевести* сатиры Кантемира звучными ямбами, то можно поручиться, что они возбудили бы живой интерес, потому что содержание их далеко не вымерло; но современный сатирик, который решился бы добросовестно изучить эпоху, непосредственно следовавшую за Кантемиром, во всех ее

подробностях и изобразить ее в ярких картинах, был бы, конечно, в положении гораздо лучше, чем «переводчик» Кантемира; сообразив все это, г. Салтыков, конечно, принял во внимание и большую свободу творчества, предоставляемую условиями нашей печати для писателей, уходящих, так сказать, в глубь веков. Таковы были выгоды положения сатирика.

Если бы он приступил к своему предмету прямо, никаких недоумений, о которых мы упомянули, могло бы и не существовать; но ему захотелось почему-то усложнить свою задачу и выразить в предисловии те цели, которые имел он в виду. Одна из них — историческая сатира, как мы уже сказали, заключенная, однако, в довольно узкие рамки, ибо автор желает только «уловить физиономию города (Глупова) и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах». Другая цель, как то можно судить по некоторым прозрачным намекам того же предисловия, — сатира на метод историографии, которого придерживаются гг. Шубинский, Мельников и др.²: имена эти г. Салтыков приводит. По-видимому, с этою целью он рекомендует себя только издателем «Глуповского Летописца», заключающегося в большой связке тетрадей, найденной им в глуповском городском архиве. «Летописец» веден четырьмя архивариусами с 1731 года по 1825 год, и содержание его «почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательных их действий, как-то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройство мостовых, обложения данями откупщиков» и т. п. Для большей ясности своей цели автор прибавляет, что он «только исправил тяжелый и устарелый слог “Летописца” и имел надлежащей надзор за орфографией, нимало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина³, и это уже одно может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче».

Прочитав одно предисловие и не приступая еще к самой книге, можно подумать, что это — просто шутка, смех для смеха, потому что странно было бы писать целую книгу с той, между прочим, целью, чтоб осмеять разных невинных компиляторов, которые, в конце концов, все-таки приносят свою долю пользы. Но познакомившись с содержанием целой книги, по временам видишь, что г. Салтыков как будто и в самом деле не упускает из виду пародии, и, вследствие того, становится трудно отделять те взгляды, которые сатирик может

считать своими, в качестве бытописателя, от взглядов мнимых его архивариусов. Правда, тон пародии нигде не выдержан, «грозный образ М. П. Погодина» нимало не преследует сатирика, и он является самим собой, со своею манерой, со своим давно известным юмором, со своим остроумием, со всеми своими достоинствами и недостатками. Вообще, в «изложении», в художественных приемах нет и запаха каких-нибудь архивариусов, но в «воззрении» на некоторые исторические явления и на главнейший фактор их — народ — слышатся иногда архивариусы, преисполненные бюрократического достоинства и чиновничьего мирозерцания. Так и думаешь, что это пародия, и ждешь подтверждения своей догадки, но сатирик спешит вас разочаровать и повергнуть в новое недоумение. Написав половину книги, он заметил, что архивариусы уж слишком выступают вперед и заслоняют собою просвещенные понятия и дальновидную историографическую зрелость невыдуманного автора, а потому он счел нужным оговориться; но вы ошибаетесь, если подумаете, что он, в качестве историка-сатирика, чувствующего себя стоящим неизмеримо выше гг. Шубинских и компании, подвергнет критике мнимого «Летописца», укажет ему надлежащие границы и, осудив его узкую мерку, которою он мерит события, воспользуется этим, чтобы высказать свой собственный, просвещенный и современный взгляд; совсем напротив: сатирик берет под свою защиту архивариусов и с свойственным ему остроумием доказывает, что сама правда говорит устами их, как ни грустна начертанная ими картина, что глуповцы иными и не были и быть не могли, в силу исторических обстоятельств, как такими, какими изобразили их архивариусы, особенно если принять во внимание, что «Летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни»; но несколько страниц далее мы видим, что архивариус ничуть не лучше трактует и об интеллигенции... Стало быть, это не пародия; стало быть, сатирик готов подписаться под взглядами архивариусов, или он опять шутит, беззаботно смеется и над архивариусами, и над читателем, и над господами Шубинскими? Читаете дальше, и перед вами возникает новый вопрос: не захотел ли г. Салтыков насмеяться и над самим собою? Подобное самоотвержение редко посещает авторов, но все-таки бывает...

Вот те недоумения, которые порождает в нас книга г. Салтыкова; явились ли они в ней вследствие неудачного литературного приема и двойственности цели или неясности для самого сатирика причин исторических явлений? Так как эти недоумения преследуют читателя через всю книгу, то это мешает ее цельности, ее впечатлению

на читателя, путает его относительно воззрений автора на события и лица и смешивает его личность с изобретенными им архивариусами. Путанице этой способствует поверхностное знакомство автора с историей XVIII века и, вообще, с историей русского народа. Для того, чтоб изобразить эту историю хотя бы в узкой рамке одного города Глухова, для того, чтобы глубоко верно и метко представить отношение глуховцев к власти, и, наоборот, для того, чтобы понять характер народа в связи с его историей, надобно или обладать гениальным талантом, который многое отгадывает чутьем, или, имея талант далеко не великий, долго и прилежно сидеть над писаниями, положим, тех же архивариусов. Иначе, без изучения, можно впасть в ту же грубую ошибку, в какую впадали некоторые иностранцы, посещавшие Русь в XVI веке и говорившие, что «русским народом можно управлять, только запустив в их кровь по локоть руки». Г. Салтыков, конечно, не говорит ничего подобного и ничего подобного и в намерении иметь не может, но его глуховцы так глупы, так легкомысленны, так идиотичны и ничтожны, что самый глупый и ничтожный начальник их является существом высшим, равного которому из среды себя глуховцы не могли бы представить. В читателе естественно рождается мысль, что глуховцы должны благодарить Бога и за таких начальников... Хотел ли это сказать г. Салтыков, или это вышло против его воли, или все это он шутит, все беззаботно хохочет, желая во что бы то ни стало потешить просвещенных соотечественников и насчет начальства, и насчет его подчиненных, так, чтобы не было обидно ни тем ни другим?.. Вопрос любопытный для характеристики нашего сатирика, но решение его затруднительно.

Мы уже сказали, что невозможно ясно разграничить мнения сатирика от мнений архивариусов, и если взяться за этот труд, то он уже потому окажется бесплодным, что иногда речи, вложенные сатириком в уста архивариусов, отличаются и метким остроумием и даже глубиной, тогда как мнения, принадлежащие, по-видимому, самому сатирику, не отличаются ни тем ни другим. Прочтите, например, следующее, принадлежащее архивариусу, сравнение истории Глухова с историей Рима: «В Риме сияло нечестие, а у нас — благочестие; Рим заражало буйство, а нас — кротость; в Риме бушевала подлая чернь, а у нас — начальники». Очевидно, что тут даровитый сатирик сидит в архивариусе, тогда как в других — архивариус влезает, неизвестно зачем, в сатирика. Наконец, есть и такие места, где нет ни сатирика, ни архивариуса, ни историка, а есть просто человек, старающийся вас позабавить во что бы то ни стало и являющийся перед вами без всякой руководящей идеи. Что делать критике при

этой путанице? Писать ли комментарии к «Истории одного города», прозреть ли в ней то, чего нет, отделять ли личность сатирика от личности архивариуса, или принять, что перед вами цельное лицо автора, в котором все эти противоречия слились в силу каких-либо исключительных законов гармонии?

Мы избираем средний путь и прежде всего проследим в «Истории одного города» действия градоначальников и подданных и посмотрим, кто кого лучше. Нас не задержит это долго, потому что от подобного разбора избавляет нас предисловие, где в сжатых, остроумных выражениях резюмируется большая часть книги и главная ее сущность. Читатели не забыли, что «Летописец» почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников; эти чиновники были таковы: «Градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина — распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского — неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою (?). Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтобы обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни: в первом случае обыватели трепетали бессознательно; во втором — трепетали с сознанием собственной пользы; в третьем — возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости». Итак, главные, если не единственные занятия градоначальников — сечение и взыскание недоимок; традиция эта унаследована ими от самых древнейших времен, со времени призвания глуповцами к себе князей, что сатирик рассказывает в особом очерке «О корени происхождения глуповцев», очерке слабом, не остроумном, не возбуждающем даже улыбки, хотя автор, очевидно, рассчитывает на читательский смех, наполняя свое сказание якобы смешными словами, вроде «моржееды, лукоеды, гущееды, вертячие бобы, лягушечники, губошлепы, кособрюхие, рукосуи» и проч. — так именуются независимые племена, жившие в соседстве с глуповцами, или «головотяпами», как они первоначально назывались; назывались же они так потому, что «имели привычку *тмять* головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадается — об стену тмяют; Богу молиться начнут — об пол тмяют». Это «тмяпанье» уже достаточно говорит о душевных, прирожденных качествах го-

ловотяпов, развившихся в них независимо от князей, а, так сказать, на общинной воле, на вечях; неизвестно, почему идут глуповцы искать себе князя глупого, но нечаянно наталкиваются на умного, который переименовал их в глуповцев и при первом бунте, который они устраивают, выведенные из терпения притеснениями наместника, является к ним собственною персоной и кричит: «Запорю!» «С этим словом, — замечает сатирик, — начались исторические времена».

Таким образом, первое и последнее слово в истории Глупова — сечение, предпринимаемое, в особенности, для сбора недоимок. Градоначальники с этой целью устраивают целые походы: — один из них так поусердствовал, что «спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною»; другой «стал сечь неплательщика, думая преследовать в этом случае лишь воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что в стене у секогого зарыт клад. Реальность этого факта подтверждается тем, что с тех пор сечение было признано лучшим способом для взыскания недоимок». Все это и остроумно и метко бьет.

Что касается субъективных особенностей градоначальников, то в этом отношении мы находим мало разнообразия: все они более или менее похожи друг на друга; главное отличие их заключается в том, что одни буйны, другие — кротки; одни отличаются необыкновенною энергией даже в подавлении мнимых бунтов, другие, напротив, предоставляют глуповцам более или менее самоуправления. Подробную характеристику градоначальников историк-сатирик начинает с 1762 года, когда в Глупов был прислан на градоначальство Дементий Варламович Брудастый, который выразил свою программу следующими словами: «натиск и притом быстрота, снисходительность и притом строгость»; при нем «хватали и ловили, секли и пороли, описывали и продавали» до тех пор, пока не оказалось, что у градоначальника, вместо головы, был органчик, сделанный Винтергальтером и выговаривавший два слова: «разорю» и «не потерплю». Этих двух слов оказалось достаточно для управления глуповцами, народом, в сердцах которых все градоначальники, «как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память». К несчастью, местный механик не мог исправить органчика, когда он испортился, и Брудастый принужден был отправить голову для исправления в Петербург; при доставке ее обратно в Глупов ямщик, услышав, что голова отчетливо произнесла «разорю», выбросил ее в ужасе на дорогу, и с этого времени началось в Глупове безначалие и явились самозванки: Ираида Лукинишна Палеологова, Клемантинка, Амалька, Дунька и Матренка. Все эти самозванки

овладели властью и истребляли друг друга, так что осталась, наконец, одна Дунька-толстопятая, которая, вместе с Матренкой, делала дела поистине удивительные: «Оне выходили на улицу и кулаками сшибали головы проходящим; ходили в *одиночку* на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волоса по ветру, в одном утреннем неглиже они бегали по городским улицам, словно исступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова». Картина поистине нелепая, лишенная не только остроумия, не только реальной, но и фантастической правды. Но она делается еще нелепее, безобразнее и бессмысленнее по тем последствиям, которые произвела: глуповцы обезумели от ужаса и стали истреблять друг друга, потом утопили Матренку-ноздрю, но с Дунькой решительно совладать не могли. «Был, по возмущению, день шестой», — острит сатирик, — «глуповцы вдруг воспрянули духом и совершили скромный и беспримерный подвиг собственно-го спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные». Это глуповцы называли «очищением», после чего объявили против Дуньки всеобщее ополчение, но покорить ее все-таки не могли: победили ее клопы, заевшие ее насмерть. Прочитавши весь этот вздор, наполненный похождениями неестественных баб и девок, картинками вроде вышеприведенной, словами вроде «паскуда», невольно спрашиваешь себя: что это такое, для чего это написано — для забавы и смеха, рассчитанных на читателей снисходительных к здравому смыслу, к художественной правде и неразборчивых на юмор, или, в самом деле, сатирик-историк полагал, что все это имеет реальное отношение к тому, что совершалось в «высших сферах» и что отражалось в Глупове, как в малом зеркале? Напрасно, однако, станем мы искать в истории XVIII века что-нибудь подобное, и если г. Салтыков видит в этой истории нечто подходящее, то он должен все-таки согласиться, что он написал уродливейшую карикатуру, и что в ряду словесных произведений карикатура занимает низшее место, чем сатира, и что даже карикатура имеет свои пределы, за которыми она делается просто вздором.

Один из следующих очерков — «Голодный город» — несравненно лучше: тут немало метких замечаний о беспомощности жителей против буйства начальников и о той удивительной поспешности, с какою являются военные команды усмирять совершенно смирных обывателей, кажущихся, однако, начальническому глазу бунту-

ющими, и чем кривее этот глаз, чем ограниченнее рассудок и чем больше склонности к самодурству у подобных начальников, тем чаще эти мнимые бунты и тем более возов розог истребляется на мужицкую спину. Но этому очерку, как и последующему («Соломенный город»), где есть картина пожара, написанная рукою настоящего художника-мастера, положительно вредят бабы и девки, которых напускает в свои произведения г. Салтыков в излишнем количества, без нужды, и занимается ими слишком прилежно, мы готовы даже сказать: с любовью, поистине необъяснимою. Герой этих очерков, градоначальник Фердыщенко, заводит себе помпадуршу⁴, в лице посадской жены-Алены, потом какой-то общественной бабы Домахи, из-за которых глуповцы начинают враждовать с градоначальником, по причинам не совсем ясным и даже, можно сказать, фантастическим, что, однако, навлекает на них немало бед, ибо, как уже сказано, Фердыщенко постоянно прибегал к помощи военной команды, которая упала как снег на голову бедным глуповцам даже тогда, когда они ожидали от высшего начальства благодарности за свое благонравие и долготерпение. Фердыщенко посвящен еще третий очерк, где описывается его «фантастическое» путешествие кругом города Глупова; по нашему мнению, очерк этот один из слабых, ровно ничего не говорящих; между тем, как в «высших сферах» происходило действительно сказочное путешествие в Крым, обставленное такими декорациями, которых ни один декоратор ни прежде того ни после произвести не был в состоянии, ибо для этого затрачены были миллионы, путешествие это могло бы представить прекрасный материал для сатирического изображения, тем более уместного, что все описатели его восхищались им, и оно перешло в предание, как очаровательная сказка, тогда как на самом деле оно дышало невообразимую нескладицей⁵. Другой фантазии того времени — завоевания Византии — г. Салтыков тоже коснулся и довольно остроумно («Войны за просвещение»), хотя, по правде сказать, сюжет этот достаточно исчерпан. Была другая фантазия, более дикая и нелепая, взлелеянная всеильным Платоном Зубовым после 1793 года⁶; фантазия эта сохранилась в собственноручных набросках знаменитого временщика: разграничив Европу, он присоединял к России все пространство до устьев Эльбы на севере и до Триеста на юге и назначал несколько российских столиц, в которых государи должны были жить по несколько месяцев в году; эти столицы были: Петербург, Москва, Ярославль, Астрахань, Берлин, Гамбург, Вена и еще что-то; извращенная фантазия и невежество всеильных россиян того времени не останавливались ни перед чем, подкрепляемые беглыми

маркизами и другими представителями старого режима, устремившимися в Россию, как в землю обетованную.

Мы почти исчерпали все то, что нашел г. Салтыков для своей сатиры во второй половине прошлого века, и читатели не могут не видеть, что замечено им крайне мало, если не предположить, что город Глупов уж такой несчастный, что в нем не отражалась и сотая доля того, что происходило в «высших сферах». В самом деле, мы вовсе не видим главнейших явлений екатерининского времени. Где те ничтожности, которые попадали на «высоту честей» по щучьему велению; где эти баре-философы, эти вольтерьянцы и энциклопедисты, которым все это не мешало изнурять народ, обкрадывать казну, развращаться до мозга костей и развращать других, подкапываться друг под друга и рабски ползать и дрожать перед мальчишками, внезапно надевавшими генерал-адъютантский мундир? По нашему мнению, это ползанье высших поучительнее дрожания темной массы перед возами розог. Где тот наглый разврат, заменивший слово «любить» словом «махаться» (см. «Живописец» Новикова), сделавший из женщин цинических амазонок и смешавший полы; где этот сенат, не имеющий у себя географической карты России и не знающий суммы доходов и расходов; где многоглаголивый «Наказ», списанный с Монтескье⁷ и др., явившийся таким блестящим фейерверком и лопнувший в пространстве, как неудавшаяся ракета, не оставляющая после себя искристого хвоста, но на минуту смутившая и встревожившая обывателей и градоначальников; где тот страшный Пугач, тот зловещий ворон, который заставил трепетать как «высшие сферы», так и градоначальников, которые забыли все мероприятия относительно подчиненных и заботились только об одном мероприятии — спасти собственную свою персону, для чего вымаливали иногда прощения у баб и мужиков и валялись в ногах у самозванных «енаралов», познавая всю тщету своего градоначальничества; где эти выскочки, чудесным образом вылетавшие в люди, с гордостью носившие свой позор и даже возбуждавшие к себе зависть в других; где эти лейб-кампанцы, игравшие роль преторианцев, возмущавшие и бунтовавшие (см. описание их бунтов у Манштейна⁸); где такие градоначальники, как Прозоровский⁹, допрашивавший масонов, и о котором Лопухин¹⁰ оставил нам драгоценные страницы, блестящие юмором тем более ярким, что он выливался в допросах градоначальника искренно и наивно; где чудеснейший прототип всех тайных дел мастеров, начиная с грубейших и кончая изящнейшими, — Щипковский¹¹, «помаленьку кнутобойничавший»¹² и совершавший экзекуции иногда над важными дамами с патриархальнойю

простотой: пришел, взял и высек, — пришел с своими архангелами прямо в спальню, взял даму с ложа и тут же, в присутствии оторопевшего мужа, отсчитал положенное количество, по приказанию светлейшего князя Григория Александровича? Что за время было чудесное! Чтоб арестовать Новикова, посылают чуть не целый полк, и для чего? Для того, конечно, чтобы показать «авторитет власти», чтобы каким-нибудь образом беззащитный журналист не нанес ущерба ее достоинству, тогда как один квартальный весьма удобно мог совершить этот немудреный подвиг. А когда действительно приходилось показать «авторитет власти», когда государство, созданное могучею волей великого Петра, когда зачатки просвещения, им насажденного с таким трудом, были угрожаемы со стороны поднявшейся казачины, под предводительством беглого каторжника, *marquis de Pugatcheff*, как называла его Екатерина в письмах к Вольтеру, когда эта серьезная опасность встала под ореолом императора Петра III, — «авторитет власти» вдруг пал, вдруг оказался до того бессилён, до того презрён, что нам, читающим теперь историю того времени, могло бы показаться это невероятным, если б и на наших глазах не совершались такие же чудеса, т. е. показывание «авторитета власти» над бессильными, никому не опасными «вольнодумцами», и падение в грязь, когда этот «авторитет» сталкивается с сильным врагом (просим припомнить поучительную историю Наполеона III, великого полководца в кампаниях против мнимых заговорщиков¹³). И ничем подобным г. Салтыков не воспользовался, ничем подобным не вдохновился, не взял изо всего этого ни одной черты, ни одного типа. Нам могут возразить, что мы напрасно вопрошаем г. Салтыкова о том, чего он не сделал, вместо того, чтоб ограничиться разбором того, что он сделал. Но в этом случае мы вправе спросить даровитого сатирика, ибо он взялся за сатиру историческую и как бы вступал в конкуренцию с тем, что сделано для этого тогдашними литераторами. Разумею сатирические журналы Новикова, некоторые строфы Державина, «Вадима» Княжнина¹⁴, «Недоросля» и мелкие сатирические статьи Фонвизина, как, например, его «Придворную грамматику», которая, по остроумию и смелости, едва ли не выше «Мыслей о градоначальническом единовластии и о прочем», которые заставлял г. Салтыков сочинять одного из своих градоначальников, Бородавкина («Мысли» эти, впрочем, блещут остроумием); к этому следует прибавить другие сатирические журналы, например: «Почту Духов» и книгу Радищева, в которой недостаток таланта и слога выкупается ярким сатирическим содержанием, а местами — и одушевлением. Как вы хотите, чтобы, читая сатиру на вторую половину

прошлого века, мы забыли то, что сделали для нее тогдашние писатели? Как вы хотите, чтобы мы не указывали сатирику тех фактов, которые просятся в сатиру и которые так удобны для нее и так живучи? Если он говорит о прошлом, если он рисует жизнь, сделавшуюся достоянием истории, мы вправе указывать на то, чего он не сделал. Правда, есть у него кое-какие намеки, но такие отдаленные и такие путанные, что необходим весьма подробный комментарий к ним, который никем не может быть составлен, как самим автором, ибо отгадать его намеки не в силах человеческих. Хотел он, например, изобразить переход от либерализма к реакции, и в результате вышло только глумление над глуповцами.

Бедные эти глуповцы! Читатели видели отчасти, как третирует их сатирик, какую благодарностью пылают их сердца, по его уверению, даже к буйным начальникам; но мы не показали еще всего. «Глуповцы — народ изнеженный и до крайности набалованный» (должно быть сеченьем); глуповец руководится «не разумом, а движениями благодарного сердца»; Глупов — город «беспечный, добродушно-веселый». «Ежели посудине велят кланяться, — рассуждает глуповец, — так и ей, матушке, поклонись», и при этом, замечает сатирик, «их волнует только одно сомнение, как бы казне не было убытка, если станут они кланяться посудине». «Ежели нас теперича всех в кучу сложить, — рассуждает опять глуповец, — и с четырех концов запалить — мы и тогда противного слова не вымолвим. Нам терпеть можно, потому, мы знаем, что у нас есть начальство». Спрашиваем всякого беспристрастного человека — не идиотские ли это мнения, и где, в какой труппе, подобные мнения можно услышать? Где этот город Глупов, населенный такими идиотами? Или он не знал борьбы с притеснением; или он не бегал от злоупотреблений власти; или он не восставал против нее с страшною мезью при Разине, при Пугачеве; или он не умел хитро и ловко провести ее, как провели ее раскольники? Должно быть, Глупов где-нибудь с краю...

Но положим, что Глупов пассивно, а иногда даже с «благодарным сердцем» переносил весь гнет, которым угнетали его «буйные» градоначальники; положим, что глуповцы действительно способны были кланяться посудине и ни единого слова не промолвить, если б их сложили всех в кучу и запалили со всех четырех концов. Страх — великое дело: он отнимает разум даже у разумных и парализует энергию сильных; чтобы составить себе определенное понятие о человеке, надо посмотреть, как живет он при обстоятельствах благоприятных, в счастии и довольстве. Оказывается, что такое наблюдение можно произвести и над глуповцами, ибо и у них были

кроткие градоначальники, между которыми нельзя не упомянуть, без особенной благодарности, о некоем Прыще, имевшем вместо обыкновенной фаршированную голову, что и было потом открыто, и голова его съедена с большим аппетитом предводителем дворянства. Но прежде, чем это случилось, глуповцы успели насладиться покоем, ибо фаршированная голова оказалась несравненно пригоднее для развития самоуправления у глуповцев: Прыщ позволил им жить, как они хотят, и даже громогласно объявил, что в невмешательстве в обывательские дела и заключается вся сущность администрации. Конечно, впоследствии, при крутых обстоятельствах, которые опять настали, глуповцы часто повторяли: «Ах, если б все градоначальники были с фаршированными головами!» Без сомнения, они заблуждались, потому что и так бывает часто, что именно градоначальники с головами, во всех отношениях похожими на фаршированные, более всего мешают самоуправлению, но при Прыще было наоборот, и глуповцы сильно стали поправляться. Последующие начальники хотя и не отличались благодушием фаршированного, но были люди веселые, не злые, любящие наслаждения и иногда похвалявшиеся и либерализмом. И что же? Глуповцы «изнемогли» под бременем своего счастья и забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальниками, доведенные почти до ожесточения грубою лезтью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им «по праву», и «стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем», а когда тогдашние обличители начали греметь против этого, глуповцы говорили: «Хлеб пушай свиньи едят, а мы свиной съедим — тот же хлеб будет». Засим, неизвестно для чего, а только по свойственной им глупости, они стали строить башню до небес и не выстроили ее только за недостатком архитекторов, но зато они наверстали на других безумствах: «забыли истинного Бога и прилепились к идолам»; вытащили из архива старых богов, Перуна и Волоса, и, собрав сходку, порешили на ней: знатным обоего пола особам поклоняться Перуну, а смердам — приносить жертвы Волосу. Глядя на все это из окна своего дома, тогдашний градоначальник Дю-Шарио кричал: «*Sont-ils betes! dieux des dieux! sont-ils betes ces moujikis de Glouproff*»¹⁵. Развращение нравов шло crescendo, началась всеобщая гульба, и глуповцы «мнили, что во время этой гульбы хлеб вырастет сам собой, и потому перестали возделывать поля».

Кажется, этого было бы довольно: уж достаточно унижен бедный глуповец, достаточно низведен до бессмысленных скотов. Нет, наш сатирик так высоко парит, что глуповцы кажутся ему презреннее мух, которые только и дела делают, что гадят и любовью занима-

ются. И действительно, стали они ни на что не похожи с водворением у них градоначальника Эраста Андреевича Грустилова, когда ко всей прежней распушенности прибавилась еще заграничная зараза. «Влияние кратковременной стоянки (глуповцев) в Париже оказывалось повсюду... Явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности. Для этих непристойностей существовал особый язык. Любовное свидание мужчины с женщиной именовалось «ездою на остров любви». Представители глуповской интеллигенции сделались равнодушны ко всему, что происходило вне замкнутой сферы *езды на остров любви*. Жить было легко, потому что представители интеллигенции «чувствовали себя счастливыми и довольными и не хотели препятствовать счастью и удовольствию других»; «эта легкость в особенности приходилась по нутру так называемым смердам... Смерды наполняли свои желудки жирной кашею до крайних пределов», предались многобожию, стали поклоняться Волосу и Яриле, «но в то же время намотали себе на ус, что если долгое время не будет дождя или будут дожди слишком продолжительные, то они могут своих излюбленных богов высечь, обмазать нечистотами и сорвать на них свою досаду. И хотя очевидно, что материализм, столь грубый, не мог продолжительное время питать общество, но в качестве новинки он нравился и даже опьянял. Общество, во всех разнообразных слоях своих, начиная *от магнатов интеллигенции до самого последнего смерда*, предавалось ему с упоением». Развращенные постоянно гульбой смерды «до того понадеялись на свое счастье, что, не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине. И так, шельма, родит! — говорили они в чаду гордыни». Сатирик определяет даже время этого удивительного происшествия — 1815–1816 годы.

Мы не славянофилы; мы никогда не говорили и никогда не скажем, что в русском народе — а глуповцы составляют часть его — есть какие-то особенные качества, способные обновить «гнилой Запад»¹⁶, но мы уважаем этот народ и видим в нем все задатки для развития; благодаря этому народу, создано государство; благодаря ему, явилась интеллигенция, литература, искусство и разные другие удобства жизни; сам питаюсь Бог знает чем, он питает всех, не исключая сатириков, даже самых возвышенных и непреклонных, которые говорят, что, как скоро дана была этому народу возможность «наполнять свои желудки жирною кашею до крайних пределов», как скоро не стали «препятствовать его счастью и удовольствию», он немедленно начал производить невообразимые безумства, загулял и бросил даже хлеб сеять... Не правда ли, какой презренный народ и как достоин он всего

того, что призывали на него ревнители его нравственности! Как ниже он всех его начальников, не только таких, как Прыщ, который, вместе с фаршированной головой, обладал и благоразумием, но и всех тех, с которыми мы познакомимся. Они гнали и притесняли народ, они делали много глупостей и жестокостей, но ни один из них не доходил до того безумства, каким ознаменовали себя в счастливые годы глуповцы, подлые и гнусные в несчастье и разгульно-идиотичные в счастье. Сатирик говорит нам, что «мы без труда пойдем» все это, если припомним, что у глуповцев «назади стоял Бородавкин, а впереди виднелся Угрюм-Бурчеев». Действительно, мы пойдем это, только не с той стороны, на которую указывает сатирик: для таких бессмысленных идиотов, еще в начале своей истории, на воле, обнаруживших только способность «тяпать головою», начальники, вроде Бородавкина, шли как нельзя лучше. Они друг друга стоят. Независимо от этого, т. е. допуская справедливость указания г. Салтыкова, заметим, что ведь народ, эти смерды, живет изо дня в день, живет настоящим моментом, не имея ни времени ни средств на то, чтобы провидеть будущее и прилежно анализировать прошедшее. Власть, бесспорно, действует на нравственность народа так или иначе, в положительную или отрицательную сторону, и в этом случае глуповцы не могли быть исключением; но ни история, ни настоящее вовсе не говорят нам ничего похожего на те картины, которые нарисовал г. Салтыков. Напротив, народ, при всей своей невежественности, постоянно выбивался из-под тяжелой опеки, не говоря уже о том, что всякое облегчение всегда принималось «смердами», как милость Божия, и они не только не бросали свиньям хлеб, не только не разбрасывали зерна по целине, но, обыкновенно, лучше вспахивали земли, хотя та же история не представляет нам ни одного момента, когда бы народ до отвала наедался жирной кашей: он всегда был и есть впроголодь, и поклоняться Яриле и Волосу могли только те, кто не обливался потом на скудных нивах. Выставляя в таком виде народ, не отделяя его от слоя его эксплуататоров, г. Салтыков приносит такие жертвы, на какие способны разве архивариусы. В самом деле, — градоначальники безумны, народ еще безумнее; градоначальники развратны, народ еще развратнее; градоначальники вислоухи, народ еще более вислоух. Где, какой сатирик приносил подобное жертвоприношение? Делали ли это Рабле и Свифт в своих бессмертных произведениях, делал ли это Гоголь? Нет, тысячу раз нет, и оно понятно: если отвергать народ, отвергать его здравый смысл и даже простую его житейскую сообразительность, то что же признавать после этого?..

Мы вовсе не хотим сказать, что народу надо кланяться и кадить ему. Мы не хотим также сказать, чтобы какие-нибудь глуповцы были застрахованы от бича сатиры; но на все есть такт, всему есть пределы, и искусство выработало верное средство для отношений сатиры к угнетаемым и падшим, и этим средством г. Салтыков обладает в достатке. Средство это — юмор; но юмор не значит ни смех для смеха, ни карикатура для карикатуры; юмор — и не «капризное свойство писателей», как определил его не совсем давно один критик, потому что от каприза должны спасать писателя разум и развитие и потому что каприз есть баловство или патологическое состояние нервов. «Видимый миру смех сквозь незримые слезы» — это определение юмора, сделанное Гоголем¹⁷, в высшей степени верное и многообъемлющее, налагает на писателя известные обязанности, далекие от каприза и смеха ради смеха; хотя Гете сказал, что юмор — одна из безграничных форм искусства, хотя, по его мнению, «*der humor zerstört zuletzt alle Kunst*»¹⁸, но это относится более к внешней форме его, чем к внутреннему содержанию; внутреннее же это содержание стремится к тому же, к чему наука, в ее широком значении: юмор стремится освободить общество от предубеждений, от унаследованных традиций, от неравенства; для него нет ничего малого, но нет также ничего и великого. Он развенчал великое, чтобы возвысить малое; отринул поклонение избранникам судьбы, чтобы показать живучесть идей в толпе, в ординарном, загнанном, ничтожном, что древнее искусство приносило в жертву богам и героям. Аристократия красоты и изящества, добродетель, таланты, мудрость, сила и богатство — вот над чем трудилось прежнее искусство, на что обращало оно все свои помыслы и средства. Оно развило вкус к изящному, уважение к добродетели, мудрости, к нравственной силе, — заслуги бесспорно великие, — но толпа для него почти не существовала, потому что она представляла будто бы смешение элементов незначущих и обыденных, где самую добродетель трудно отличить от порока. Юмор указал, что и в толпе живет мысль, что и в ней есть чувство, есть задатки на величие и нравственную силу. Христианство сказало: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»¹⁹, и эти слова сделались лозунгом юмора. Таким образом, он стремился признать в человеке, кто бы он ни был и как бы высоко или низко ни стоял он, — человека, т. е. существо, наделенное не одними пороками, не одними добродетелями. Не жертвуя малым великому, он великое низводил до малого и малое возвышал до великого. К сожалению, современные юмористы, в своем усердии увеселять публику во что бы то ни стало, даже в ущерб собственной репутации,

забывают это или этого не знают, руководствуясь исключительно побуждениями собственной природы, не проверенными и не сдерживаемыми разумом.

По тому, что мы сказали о юморе, легко понять его отличие от сатиры. Юмор прощает грешникам и дает им возможность поднять голову, сатирик — бичует их. Он открывает все раны, где бы их ни заметил; он громит проклятиями и осуждениями, не указывая никаких средств для спасения и исцеления. Но громит он во имя высшей идеи о человеческом достоинстве, которую, однако, не высказывает; она только чувствуется за его отрицанием, между тем как юморист ее не скрывает; по самой сущности юмора, его идея, форма и сущность нераздельны; но если в сатире и не высказывается прямо руководящая идея, то об ней всегда можно составить себе понятие по отрицательным образам сатиры. Чем больше сатира обращает внимание на ничтожные мелочи, тем мельче и идея, воодушевляющая сатирика. Это так ясно, что распространяться об этом — значит напрасно терять слова. Одним словом, сатирическое произведение всегда даст масштаб для определения нравственной высоты той идеи, которою вдохновляется сатирик. Из всего сказанного, по видимому, следует, что сатирик и юморист противоположны друг другу: юморист копается в мелочах жизни с смеющимся лицом и охотно останавливается в вертепах порока, чтоб и тут отыскать человеческие черты, тогда как сатирик имеет право отвернуться от этого и послать туда проклятия. Все это так только в теории, но в действительности, по закону противоположностей, они постоянно соприкасаются, и юмор с такою же неуловимою быстротой переходит в сатиру, как сатира в юмор: они ежеминутно сменяют друг друга, так что критике очень трудно иногда отличить юмор от сатиры и сатиру от юмора. Это легко объясняется как самыми многообразными свойствами человеческого духа, так и сложностью явлений действительности. Юмористу, при всем его старании, при высочайшем проникновении руководящею им гуманною идеей, не удастся иногда осветить эту последнюю безобразные и наглые явления действительности; он слишком часто наталкивается на бессовестнейшую эксплуатацию, и его смех, карикатура, ирония заменяются серьезным, лирическим настроением сатирика. С своей стороны, сатирик не может, по самому свойству человеческого духа, совершенно устранить от себя великодушие, доброту, сострадание; он не может, по справедливости, совершенно выделять и себя самого из окружающей его действительности, которой он есть часть, и это еще более смягчает его, и сатира его переходит в юмор. Но и сатира

и юмор исчезают, и остается голая проза, безжизненное переливание из пустого в порожнее, смех ради смеха, как скоро сатирика и юмориста оставляет высокая идея служения добру и истине. Величайшая гармония между юмором и сатирой, при художественности и зрелости образов, существует у нас только у одного Гоголя. Он ни разу в своих произведениях не провинился, так сказать, против законов, которые вывела теория о сатире и юморе. Самые жалкие отребья человечества, вроде чиновника в «Шинели», возбуждают в нем именно такой смех, сквозь который слышатся слезы; в «Записках сумасшедшего» юмор нигде не переходит свои границы и в конце этого произведения обращается в вопль сострадания к больному человечеству; мы не говорим уже о «Мертвых душах», где талант Гоголя развернулся во всю свою ширь.

Да не подумают читатели, что мы желаем сравнивать Гоголя с г. Салтыковым: мы хотели только указать на то, как великий писатель пользовался своим дарованием и какой живой пример, не в отвлеченной теории, оставил он своим последователям. Дело в том, что г. Салтыков продолжает традицию Гоголя и, по мере сил и возможности, разрабатывает частности той самой картины, которую так гениально начертил Гоголь. Как верный ученик, г. Салтыков не выходит из рамки этой картины и не расширяет ее горизонта; этим, однако, мы отнюдь не хотим сказать, что у г. Салтыкова мало сил — их довольно для того, чтобы быть заметным и полезным учеником великого таланта, но эти силы иногда направлены фальшиво и односторонне. Из указанных нами, в общих, слабых чертах, существенных свойств сатиры и юмора, построенных теорией не произвольно, а на основании произведений именно великих талантов, ясно, что и та и другой имеют свои границы и являются выразителями руководящей авторами идеи. Нравственное чувство и искусство в современном его значении откажутся признать какое бы то ни было поэтическое достоинство за сатирой на крепостных крестьян, за сатирой на негров, перевозимых как товар на плантации, хотя бы авторы их обнаруживали несомненный талант: низменная, чисто животная идея, которая легла бы в основание подобных произведений, лишила бы их всякого значения и достоинства; это был бы отвратительный пасквиль, от которого с презрением отвернулось бы искусство, потому что оно служит прогрессу и цивилизации. Этим примером, конечно, грубым, мы хотим объяснить, почему фальшиво отношение г. Салтыкова к народу (т. е. к его приниженным и угнетенным глуповцам) не только с исторической точки зрения, но и с художественной. Его юмор грешит в этом случае тоном и сво-

им содержанием, потому что автор недостаточно выяснил себе свои идеалы, свою нравственную идею; его юмор обращается в злую, а иногда и просто в пошлую насмешку над несчастьем и неразвитостью темной массы; его юмор часто не проникнут высокою идеей братства и любви там, где этого ожидаешь и где это необходимо, и вдруг проникается любовным элементом там, где нужен элемент противоположный; его юмористическое настроение не связывается достаточными нравственными путями и опрокидывается иногда зря на первый попавшийся предмет, — лишь бы он представлял смешную сторону. Неужели это настоящий юмор, неужели это служение искусства добру и правде? Нет, это не юмор, а самодовольный хохот, от которого да хранит Бог на будущее время такой замечательный талант.

Нам осталось сказать о последних двух очерках в книге г. Салтыкова: один из них посвящен градоначальнику Эрасту Андреевичу Грустилову, другой — Угрюм-Бурчееву. Эти два очерка, в особенности последний, лучшие в книге г. Салтыкова. В Грустилове представлен человек, по-видимому, либеральный, с первого знакомства как будто что-то обещающий, но, в сущности, растленный похотью и властью, суеверный и сантиментальный, в худшем значении этого слова, и блестящий отсутствием твердых убеждений. Это почти флюгер, но флюгер, однако, себе на уме, умеющий свои наружные достоинства и свою власть употреблять для удовлетворения господствующему своему влечению — похоти; и либерализм, и мягкие манеры, и сантиментальность, и суеверие — все это в нем проявляется не столько как основные черты его характера, сколько как более или менее искусная маска для уловления сердец. Ленивый и беспечный, он поддается всякому влиянию, лишь бы оно льстило господствующей в нем слабости или избавляло от хлопотливых забот по управлению глуповцами. Оберегайте только его личные интересы, содействуйте осуществлению его вожделений, и он позволит вам делать, что вам угодно. При случае вы можете напугать его дьяволом, при случае — бунтом, при случае можете обольстить прелестью либерализма и благословением потомства. У г. Салтыкова, впрочем, рельефною вышла только «клубничная» сторона, анализированная с большим искусством и юмором. Но если Грустилов напоминает нам лучшие произведения нашего сатирика, как «Ташкентцы», «Глупый помещик», то Угрюм-Бурчеев стоит едва ли не выше всего, что до сих пор написал г. Салтыков. Это если не совсем цельный, то, во всяком случае, рельефный образ деспота-самодура, в своем ослеплении и самонадеянности вызывающего на бой даже силы природы. Угрюм-

Бурчеев перед рекою, которая вдруг преграждает свободный ход его дикой фантазии, — удивительно удачная картина.

— Зачем? — спросил, указывая на реку, Угрюм-Бурчеев у сопровождающих его квартальных.

Квартальные не поняли; но во взгляде градоначальника было нечто такое, до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса.

— Река-с... Навоз-с... — лепетали они, как попало.

— Зачем? — повторил он испуганно, и вдруг, как бы боясь углубиться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад.

Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос:

— Уйму! я ее уйму!

Далее идет картина этого унимания реки, в которую валят целые возы мусора, но она продолжала течь по-прежнему, только изредка останавливаясь, и бурлила, когда масса мусора сбрасывалась в нее. Эта картина невольно напоминает другую, столь частую в действительной жизни народов: останавливаются самодуры испуганно перед потоком живых идей и говорят судорожно: «Уйму я его, уйму!», но поток пробивает себе дорогу через плотины, по-видимому, самые надежные, и, год от году делаясь все шире и шире, заливают береговые пространства и превращает даже самый мусор в плодородный чернозем. Самодуры, с течением времени, замечают это странное, по их мнению, явление и стараются усугубить свое усердие; но поток все-таки течет, иногда под почвой пробивает себе ложе, незримо для соглядатаев, и вдруг вырывается из нее таким бурным каскадом, что голова самодуров кружится, и они теряют всякую способность к усмирению непокорной стихийной силы. Возвращаемся к Угрюм-Бурчееву.

Стройность этого прекрасного очерка нарушается, однако, несколькими страницами, посвященными какому-то Ионке Козырю, в истории которого сатирик, по-видимому, хотел изобразить историю глуповского либерализма и, по обыкновению, впал в апокалипсическую темноту и в ничего не выражающую карикатуру. Мы могли бы еще сделать два-три замечания. Нам, например, не нравятся слова «идиот» и «прохвост», которыми обзывает своего героя сатирик; и с нашей стороны это далеко не капризное субъективное чувство, а одно из тех требований искусства, перед которыми художник должен преклоняться, по той простой причине, что подобное отношение к герою — нехудожественный прием; герой должен выходить цель-

ным образом, без этих, часто ничего не говорящих, при всей своей резкости, эпитетов. Кроме того, в настоящем случае слово «идиот» достаточно противоречит всей деятельности Угрюм-Бурчеева, ибо из нее, при всей ее дикости, нельзя все-таки вывести заключения, что перед нами идиотическое существо, не способное ни к какому размышлению. И только такая постановка лица дикого самодура и мыслима в серьезном литературном произведении, иначе, т. е. при допущении идиотизма у самодура, он теряет свое широкое значение, и черты, равно приложимые, хотя и не в одинаковой степени, к ограниченным и умным из них, частью исчезают, являясь лишь принадлежностью одного лица, пораженного идиотизмом. Тип, таким образом, сильно бы умалился в своем нравственном значении. К счастью, сатирик не сделал этой ошибки, и эпитет «идиот» употреблен им совершенно излишне, по привычке к крепким словам: в Угрюм-Бурчееве много сметливости, хитрости, дикой наглости, способности комбинировать планы благоустройства, хотя планы и «прямолинейного» содержания. Напрасно также г. Салтыков придал ему некоторые такие черты, которые как бы указывают на присутствие необыкновенно сильной воли в этой натуре. «Он спал на голой земле и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьих жилы. В заключение по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям».

Как карикатура на чрезмерную страсть к маршированию и выправке, эти выписанные нами строки не лишены остроумия и злости, но как черты характеров, подобных Угрюм-Бурчееву, они лишены всякого значения. Угрюм-Бурчеевы никогда себя не забывают и работают только для себя; сильной, непреклонной воли, самобичевания в них также никогда не замечалось. Сам г. Салтыков намекает на это в конце очерка, когда народилась новая сила, и Угрюм-Бурчеев «моментально исчез, словно растаял в воздухе». Они не только исчезают, когда власть отнимается от них, но обнаруживают презренную трусость и готовность унижаться перед теми, которых вчера еще держали по два часа в своей передней навязку. Лишь наружно они готовы показать спартанскую твердость и выставить напоказ свой протертый сюртук и изношенную шинель:

для толпы ношение градоначальником, этою важною особою, старой шинели является чем-то грандиозным и внушающим почтение к себе; она готова бессмысленно повторять: «Смотрите, дети, этот человек мог бы ежедневно надевать новую шинель и новый сюртук, но он ходит в старых. Какое величие!» Она готова удивляться старому сюртуку; с таким же увлечением, с каким удивляется, глаза, блеску и золоту. Она не размышляет о том, что старым сюртуком прикрыта полнейшая нравственная разнузданность, выказывающая себя где-нибудь в четырех стенах, вдали от людских очей. Если же толпа способна создать себе культ из старой шинели, треугольной шляпы и серого сюртука, то действительные самобичевания и закаление своей природы тяжкими лишениями найдут между нею еще большее число поклонников, потому что лишения эти, в ее глазах, свидетельствуют о нравственной силе человека, о преданности его своей идее, хотя бы это была и дикая идея. Тут уж является фанатизм, способный жертвовать, во имя идей, своей жизнью. Но еще не видано, чтоб Угрюм-Бурчеевы были способны на такие подвиги: они, как только достигли власти, скорей пожертвуют тысячею жизней других, чтобы сохранить в целостности свой указательный перст и продолжить свое благосостояние, чем уронить волос с головы своей.

Если эти недостатки и вредят цельности образа Угрюм-Бурчеева, то настолько незначительно, что не разрушают впечатления, оставляемого в читателе всем очерком, более существенными сторонами его. Самый тон юмора гармонирует как нельзя лучше с содержанием, и, что всего замечательнее, глуповцы просыпаются и начинают тайную борьбу с этим страшилищем; в конце концов сатирик сжалился над ними, или, лучше сказать, в конце концов сатирик приблизился к истории, хотя и не совсем. Он все еще продолжает думать, что глуповцы проснулись частью оттого, что разглядели идиотство своего градоначальника, частью... Но тут является крупное противоречие: мы видели, что пребывание глуповцев за границей породило в них женственность и разврат до такой степени, что смерды перестали пахать и загуляли, до отвала наедаясь жирной кашей, а интеллигенция стала «равнодушна ко всему, что происходило вне замкнутой сферы езды на остров любви». Это было в 1815–1816 годах, как обозначил наш автор, при предместнике Угрюм-Бурчеева, Грустилове. И вот, объясняя пробуждение глуповцев, сатирик говорит, что тому способствовали «множество глуповцев», вернувшихся из чужих краев, где они были для ратного дела и ученья. Очевидно, наш автор не совсем последователен, лучше сказать, он игнорирует историю,

когда увлекается своею страстью к карикатуре и забавничанью, и вспоминает о ней, когда серьезная мысль начинает руководить им. Пусть сам он сравнит достоинство карикатуры, хотя и производящей смех, но витающей в области фантастично-нелепого, с достоинством сатиры и юмора, одушевленных реальною правдой и верною руководящею идеей. Пуская свой юмор в беспредельность, не ставя ему никаких границ, т. е. никакой идеи, он удачно начертит несколько картинок, попадет метко в несколько действительно смешных или возмущающих душу сторон нашей жизни, рассыплет цветы своего бойкого остроумия, но не создаст ничего цельного, ничего достойного своего таланта, и, вместе с тем, как бы мимоходом, осмеет ненужным смехом такие явления, которые писатель, одушевленный идеей служения добру и правде, никогда бы не отдал на потеху смешливому легкомыслию.

Зато г. Салтыков становится другим человеком, когда ему удастся верно подметить причины известного явления и разгадать его сущность, или когда он доходит до этого изучением, или когда представляется ему материал, вполне очищенный критикою: он способен тогда возвыситься до настоящего одушевления и рисовать типические очерки; тогда и архивариус из него вылетает бесследно и смех его звучит не надорванною нотой усталого забавника, а едким сарказмом, и карикатура является осмысленною и понятною. Укажем в доказательство на несколько страниц, посвященных в очерке «Поклонение мамоне и покаяние» изображению состояния народного просвещения в Глупове, которое приняло юродивый характер. Начальником школ назначен был юродивый Парамон; товарищ его по юродству, Яшенька, получил кафедру философии, которую нарочно для него создали в уездном училище. Вот как действовали эти два достойные мужа:

«...Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать; он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом добела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовною небрегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька, с своей стороны, учил, что сей мир, который мы думаем очима своима видети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, из лона исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное, в некоей житнице сложены, и оттоль, в мере надобности, спускаются долу, дабы оное

сонное видение в скором времени увидеть и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись, и 3) следует возлагать упование и созерцать — и ничего больше. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. “Для сего, — говорил он, — уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устрями взоры на пупок”».

По обычаю, нам следует сделать общий вывод из всего сказанного нами о г. Салтыкове. Но нужно ли это? Если б г. Салтыкова мы считали обыкновенным фельетонистом, произведения которого живут не дольше листа газеты, мы ограничились бы теми отлично выработанными общими местами об остроумии, меткости и злости, которые, несмотря на свою ординарность, все еще продолжают утешать авторов; но мы, несмотря на однообразие произведений г. Салтыкова, обусловленных заколдованной административной сферой, считаем их далеко не эфемерными, а талант его — весьма замечательным; а кому больше дано — с того больше и спрашивается. Вот наше заключение.

